

СМЕРТЬ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

Сегодня мы завершаем публикацию очерков о последних днях жизни Осипа Мандельштама.



Один из последних снимков поэта.

Окончание очерка Эд. Поляновского «Смерть Осипа Мандельштама» публикуется на 3-й стр.

V.

МНОГО вымысла о лагерной жизни Мандельштама — от романтических легенд до низменных небилли. Вымысел, повторенный Эренбургом. о том, что большой поэт у костра читал сонеты Петрарки; что стихи о Сталине готов прочесть был любому за охотку, еду, курево; что чуть ли не били его или собирались побить за хлеб, схваченный до раздела, что съездил за другими остатками пищи и облизывал чужие миски; что врачи устроили поэта «на работу» стирать одежду покойников за харчи и тулуп; что читал стихи уголовникам — самая распостраненная и едва ли не самая красивая легенда: чердак, свеча, посередине, на бочке, царское угодение — коньяк, белый хлеб. Романтические уловки и отверженный поэт...

— Самый ушлый блатной не смог бы провести Мандельштама через две запретные зоны — к уголовникам, — говорит Моисеенко. — Может быть, это и было. Значит, сработали осведомители НКВД, чтобы наматывать позу новый срок. Тем более там оказался и безымянный физик Л. Как свидетель...

Воспоминаний — десятки, больше других преуспел доктор биологических наук Василий Меркулов — «блуждающий агроном».

— Зачем все это? — размышляет Моисеенко. — Там было столько правды, что лгать-то зачем? Хотят себя отметить. Я выдумывать ничего не могу, а только вспоминаю живое прошество.

Много вымысла о лагерной жизни поэта. Еще больше — о смерти. И опять — либо романтика, либо самое низменное.

Надежда Яковлевна так и не сумела отыскать ни одного свидетеля смерти мужа.

МОИСЕЕНКО аккуратен, час и минуту смерти назвал, а день не решился: дня за тричетыре до Нового года...

Да, это случилось 27 декабря 1938 года.

«Мы почти месяц пробыли вместе — больные, умирающие, здоровые — взаперти. После завтрака открывается дверь: «Ваш барак идет на санобработку. Приготовьтесь, по 20—25 человек». Наша группа отправилась третьей, значит, мы вышли около половины двенадцатого. Там ни мыла, ни мочалки, ни воды, просто прожаривали одежду — прожарка, так и называлась».

Осип Эмилевич последние дни лежал — в рубашке, брюках. Он приподнял голову, медленно посмотрел по сторонам, сел на нары. Ковалев улыбнулся ему:

— Ну что, Осип Эмилевич, пойдемте купаться.

Мандельштам посмотрел так на него и отвернулся. Он был слаб, слаб. Долго обухался на нарах. Шапочку зеленую надел — такая фасонная, интеллигентская, видно, что из большого города: плетенью хляк над козырьком и с пугавками. Пиджак надел. Мы уже все сошли и у дверей его ждали. Минуты тричетыре. Ковалев Иван Никитич держал его: он сначала постоял ногами на вторых нарах, потом спустился на пол... И по бару побрел едва-едва, ссутулившись, — голову опустил, ко всему безразличный. Он уже, знаете ли, был отключен. У дверей мы их с Ковалевым пропустили, а на улице опять обошли.

День был ясный. До жарыжки сотня шагов, идти нетрудно, там спуск. Но надо осторожно, вместо ступенек — каменные надолбы, неровные, бесформенные. Шли свободно, не строем. У дверей жарыжки остановились, опять ждали, когда Осип Эмилевич спустится. Нам сказали — всю одежду забрать у многих узелки были. А у Мандельштама ничего не было, что-то через руку перекинул. Что? Не знаю, я же не следил, я же не знал, что этот человек сегодня утратит свою жизнь. Что у него: рубашка, нательная майка, кальсоны да две рубашки.

Они медленно спускались. Ковалев держал его за локоть, Осип Эмилевич что-то отвечал ему, но голову так и не поднял. Он месяц на воздухе не был.

Нам открыли изнутри. Мы разделись, повесили одежду на крючки и отдали в жар-камеру. Мандельштам раздевался с трудом, Ковалев все его белье последним развесил и тоже отдал. Желтое пальто выбросили нам обратно: «Кожу нельзя, покоробит». Мы не сидели, даже не стояли — ходили. Холодная, как на улице. Все дрожали, а у Осипа Эмилевича костяшки ног, прямо, стучали. Вы знаете, когда мне показывают Освещенный, я отвечаю, что я все это видел еще до войны. Он просто скелет был, шкура морщинавая».

— Еще кто-то был такой в лагере?

«Нет. Может быть, Моранц. Ученый. Он тоже в нашей группе оказался. Но тот все же покрепче. Мы кричим: «Скорее! Загорюшим!» Ждали минут сорок, пока не объявили: идите, одевайтесь. Это — на другой половине. Впереди всех по своей привычке двинулся Осип Эмилевич».

В нос ударил резкий запах серы. Сразу стало душно, сера просверливала до слез. Была бы хоть дверь открыта, вытяжки же никакой... Ковалев успел взять ему из кучи крюк с бельем, и мы еще сказали: «Осип Эмилевич, осторожно, крючок горячий, руки жгет». Он сделал шаг три-четыре, отвернулся от жар-камеры, поднял высоко так, годро голову, сделал длинный вдох... Левую руку он успел положить на сердце и правую подтянуть, и — бухнул. Как-то не ловко, лицом вниз, немного на правый бок. Пол был деревянный, некрашенный, грязный. Мы закричали в камеру:

— Человеку плохо!..

Лицо он не разбил, он за сердце когда схватился, руки впереди оказались. Кто-то перевернул его на спину. Глаза уже были закрыты, а рот приоткрыт. Я за него не брался, прямо скажу: как-то подействовало плохо... Ковалев подобрал руки, на живот положил и стал искать пульс. Кто-то сказал: «Готов». И в это время — шум: падает второй... Моранц! Он сидел на скамейке и упал. Или на него это все подействовало...

Мы растеряны были и напуганы: два покойника, что вы, за одну минуту. Один из дезинфекторов, высокий, лысый, в сером фортиенно к халате, положил руки под голову Осипу Эмилевичу, потрогал челюсть, и рот закрылся. Одна нога у него, как от судороги, дернулась и легла рядом, ровней.

Он и живой-то от мертвого не отличался. Но тут лежал страшный: худой, синюшный, ребра, хоть считай.

Вошла врач с немоданчиком и с ней мужчина.

Ковалев снял с крючка рубашку Мандельштама и накрыл по груди. Трубы у нее не было никакой, она не слушала. Подняла его левую руку, поискала пульс. Из правого кармана вынула зеркальце и поднесла ко рту. Отняла, посмотрела, протрела и снова поднесла. Все эти 15—20 минут стояла тишина. И она сказала мужчине, который с ней пришел:

— Что смотрите? Идите за носилками.

И нам, мы же стоим кто в чем: — Что стоите? Одевайтесь.

Принесли банку сулемы, и рабачий из obsługi кисточкой, просто пучок волос перевернутый, обрызгал тело. Дезинфекция: все-таки в жар-камере, не в бараче. Сулема — сивая, мутная, запах от нее — жуткий. Блатники из obsługi уложили его на простыню — на носилках, и этой же простыней его обернули. Они испанчили руки сулемой и ругались: «Фу, б... зараза». Вытерли о простыню у ног, подняли и унесли.

Вещички его сложили в желтое кожаное пальто, завязали. Они тифозное должны сжигать, но — брали себе, продавали. Для Левы Гарбуза этот день был бы праздником.

...В бараче на нас зашумели: «Чего так долго? Всех задержали».

— Умер Мандельштам.

Кто-то сказал:

— Наш Моранц тоже умер.

И тогда все притихли. Замигались. Ждали его, да.

А через два дня на место Осипа Эмилевича положили новичка, и о нем уже забыли. Каждому было дело только до себя, до своей безвестной жизни.

А Ковалев — да, долго тосковал. Он был недалек от обращения к Ивану Никитичу, другому совсем, а тосковал: «Ушел мой товарищ». Кто-то сказал:

— Да-а, теперь тебе баланды не обидятся.

ДАЛЬШЕ было все, как при жизни, — сплошная ложь. Лагерный врач Кресанов и дежурный медфельдшер составили «акт № 1911» о том, что Мандельштам Осип Эмилевич 26/XII-38 г. был положен в стационар, находился в лагерной больнице под присмотром врачей, там и скончался на другой день. «Причина смерти: паралич сердца а/к склероз».

«Груп дактилоскопирован 27/XII» — тоже ложь. Он валялся бесхозным, невостребованным четыре дня — на свалке трупов.

Тело не скрывали, было же до этого, не успевали.

Но почему же фельдшерница, спрашивая у Моисеенко, зеркальце протирала и опять ко рту подставляла? Запотевало?

— Кто ее знает. Мы же растерянные были...

— А было, что обреченных, но еще живых в морг отвозили?

— Ну... я же вам рассказывал...

Да нет, мертвый он был, конечно. Конечно, умер.

ИЗ «ЧЕТВЕРТОЙ ПРОЗЫ» Мандельштама:

«На таком-то году моей жизни бороздили взрослые мужчины в рогатых меховых шапках занесли надо мной кремневый нож».

И все было страшно, как в младенческом сне. На середине жизненной дороги я был оставлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвали моими судьями...

Первый и единственный раз в жизни я понадобился литературе, и она меня мила, лалапа и тискала, и все было страшно, как в младенческом сне».

«У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архивов. Я один в России работаю с голосу».

«Я китаец, никто меня не понимает. Халды-балды».

«Что это я все не так делаю. Оттого-то мне и годы впрок не идут — другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот — обратное течение времени».

Я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виновности не спасают. В неоплатности живу. Изворачиванием спасусь. Долго ли мне еще извораживать?

Меня принимают за кого-то

другого. Удостоверить нету сит. Как сталинские кондукторские щипцы, я весь изрешетен и протерпелеван собственной фамилией. Когда меня называют по имени, отчеству, я каждый раз вздрагиваю — никак не могу привыкнуть — какая честь!

...И все им мало, все им мало... С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подожди! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему?

Еще из прозы Мандельштама — маленькое бесхозное отрывка неизвестных лет: «...Пробороза исторического события — в природе служит гроза. Пробороза же отсутствия событий можно считать движение часовой стрелки по циферблату».

В Чердыни, где ему мерещились грубые мужские голоса, поносящие его отборной бранью, упрекающие в том, что он сгубил столько людей, прочитав и свои стихи, — голос называл имени из погубленных, как подудимых; в Чердыни, где он искал труп Ахматовой в оврагах; там, в Чердыни, он смотрел на большие стальные часы и ждал расправы. Приход убийц он назначал на какой-нибудь час и в страхе ждал их. «Сегодня — в шесть часов вечера...» Наденька потихоньку переводила стрелки: «Смотри, уже четверть восьмого».

Обман удавался, «смерть» отступала, страхи проходили.

...Если бы Дантес и Мартынов промахнулись. Если бы в роковой час сменялся и одино-

чества возле Есенина оказались люди. Если бы женщина, оказавшаяся возле Маяковского, сказала в тот момент безоглядно: «Да». Если бы. Почти всегда выстраивается запоздалое, наивное — если бы.

Конечно, если бы. В тот полдень, 27 декабря 1938 года, просто некому было перевести стрелку часов. На час, на два, на пару веков.

Смерть была не романтической, не мучительно-жесточкой, не насильственной от рук уголовного. Она была будничной и мгновенной. Смерть — на конвейере, кровавый маньяк — Родина.

Страшнее, страшнее-страшнее, чем в младенческом сне.

...Говорят, что теперь в некоторых, кажется, азиатских странах беременная женщина на шептывает своему будущему ребенку, что ждет его на земле, и он сам, еще в утробе, решает — рождастся ему или нет.

Теперь, уже кажется, выяснили, что видит и чувствует в предсмертный миг покидающий землю: тоннель, скорость, свет...

В блаженный короткий миг Осип Эмилевич Мандельштам увидел после тоннеля райскую зеленую поляну, освещенную солнцем. Сидели на ней полковник Белой армии Цыганский, интеллигент, спасший Мандельштама из врагелевских застенков, и рядовой — красноармеец Осыка, провожающий поэта в застенки советские. Они были вместе и вполне понимали друг друга. Конечно, были здесь, на светлом лугу, улыбающаяся Наденька и Анна Андреевна, и Илья Григорьевич. Должен был быть и Макс, если Осип Эмилевич успел его рассмотреть. Сладкий миг — до останков сердца.

Лучше, что было на земле, — расставание с землей.

БЫТОВИКИ при покойниках — блатные жили прилично. Откроют мертвого поэта, ножичек к золотому зубу приставят — коронка слетает. Но быстрее и проще — клещами. Золотое кольцо намывает — снимают. Но опять же проще — отрубали палец.

Во Владивостоке у них была своя скупка. Они, видимо, делились с к лагерной администрации. У них — и масло всегда, и колбаса, от них водкой пахло. У Осипа Эмилевича на пальцах ничего не было. Золотые коронки — да. Одна сверху и две или три внизу.

Последний, кто видел поэта из ныне здравствующих, — Дмитрий Михайлович Маторин. В тот же день, 27 декабря, он тоже поинит его ясным и теплым, к нему на лагерном дворе обратился Смык, начальник лагеря: «Отнеси-ка журирку».

— Прежде чем за носилки взяться, я у напарника спросил: «А кого несем-то?» Он приткрыл, и я узнал — Мандельштам!.. Руки были вытнуты вдоль тела, и я их поправил, сложил по-христиански. И вот руки — мягкие оказались, теплые, и очень легко сложились. Я напарнику сказал еще: «Живой вроде...» Конечно, это врал ли, но все равно и теперь мне кажется: живой был... Несли мы его к моргу, в зону уголовников. Там нас уже ждали два уркаша, здоровые, веселые. У одного что-то было в руках, плоскогубцы или клещи, не помню.

...Двое уголовников потащили, позвали Осипа Эмилевича. Это было последнее преследование поэта. Мародеры разомкнули ему рот. И он не почувствовал ни унижения, ни стыда, ни боли, как всякий мертвец.

И живая ласточка упала на горячие снега...

«Протокол отождествления» под грифом «секретно» свидетельствует, что старший дакти-

лоскопист ОУР РО УГБ НКВД по «Дальстрою» тов. Повереннов произвел сличение палеце-отпечатков Мандельштама 31 декабря. Это значит, что заворачивали поэта в тряпье, грузили на телегу с другими вместе, увозили за ворота и сбрасывали в одну из ям, которые заключенные копали сами для себя, — в ночь под Новый год, 1939-й.

БЛА у Юрия Илларионовича Моисеенко мечта — получить высшее образование. Он окончил педагогический техникум, из белорусской глубинки приехал в Москву, поступил в юридический, прямо с институтской скамьи его и забрали. После 12 лет тюрьмы и лагерей все вузы для него закрылись.

— Вы знаете, жизнь сгорала кратко, как свеча.

— Ничего, — пытаюсь успокоить, — вы еще крепкий.

— Крепкий. Да. А смерть все равно придет.

— Нет. Ничего дорогостоящего в моей жизни не было. Вся моя жизнь — из мук и страданий. Зачем я жил?

Увожу разговор к сегодняшней жизни — Горбачеву, Ельцину.

А я, знаете, — виновато говорит Моисеенко, — в этих разговорах не участвую. Извините. И когда у нас на работе соберутся: «Убирать его пора, надоел!» — я ухожу, знаете. ...Еще не пишите, но сейчас опять правды у КГБ расширятся. И теперь таких, как я, подбирать сразу будут. Без суда и след-

ствия. Ну и что ж, что реабилитирован. Дорогой где-нибудь и убьют. Я не за себя даже — за детей...

Там, в лагере, ему снился дом, отец с матерью, студенческое общежитие. Двенадцать лет ему снилась воля.

А когда вышел, на воле ему снились те двенадцать лет. Он уже женился, подрастала дочь, а ему снился лагерь, снилось даже, что его расстреливают, и он проснулся в поту. Его бы и расстрелили в Смоленской тюрьме — непременно — в 41-м, когда наступали немцы, если бы не второй приговор и этап.

Пересылка погубила Мандельштама и спасла Моисеенко.

— Я эти ночи, как вы приехали, не сплю. Какую же мы пережили эпоху! За что, скажите, страдали, а? Я храню портрет Хрущева в рамочке. Я ценю его подвиг, это же он закрыл гильотину эту. Только недавно дети сказали: снимите его, о нем уже другое говорят.

Моисеенко «Известия» выписывал давно. Я ему, представляя, фамилию назвал, а он мне — мое имя. Я расспрашивал его подробно о приставочных тупиках в пути, о птицах и полетных цветах за вагоном арестантским окном, о погоде, о том, какие звуки проникали в лагерь с воли, просил нарисовать нары в вагоне, в лагере, и где была больничка, и вышки, и бочка с водой. Он посмотрел на меня внимательно:

— Извините, а вы не работник КГБ?

Мне стало весело, и он не ловко улыбнулся.

Как же неправомо загубленна жизнь человека.

А МОЖЕТ быть, прав он в смысле нынешнего времени? История разворачивается как круто, что вместо 180° вновь прокрутилась на 360°.

Она снова двигается в том же направлении, с той же скоростью. И мы, как всегда, не готовы к новому повороту.

Поэта реабилитировали, как казнили, — с той же неряшливостью и небрежностью: «на волне». Вначале, в 1956-м, по второму делу. Классический набор: «конкретных обвинений Мандельштаму предъявлено не было», «по делу допрошено только сам Мандельштам, который виновным себя не признал» и т. д. В итоге:

Лист дела 31. «29 августа 1956 г. Справка. Дана гр. Мандельштам Осипу Эмилевичу в том, что определением судебного коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР от 31 июля 1956 года постановление Особого Совещания отменено и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления...».

Вы поняли? Это пишет зам. Председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР И. Аксенов. Он сообщает самому казенному поэту о том, что 18 лет назад тот казнен был по ошибке.

Реабилитация по другому делу — первому — затонула. Выручил столетний юбилей поэта. «В связи с писмом Союза писателей СССР» провели новое расследование. К 99-летней годовщине и прежде, не к годовщине, — можно оставить виновным, но к столетию — стыдно. Работа продвигается огромная. Разыскиваются бывшие следователи. А зачем? «Христофоры», специалисты по писателям, сам был расстрелян, тогда же, Разыскиваются родные и близкие поэта, рассылаются запросы в адресные столы. А их, родных и близких, уже нет давно, поумирали. Допрашиваются восьмидесятилетний «свидетель»

тедь» Лев Николаевич Гумилев, в следственный отдел КГБ СССР пишут свои «отзывы» Вениамин Каверин и Иосиф Прут. Все трое высочайше оценивают поэзию Мандельштама, и показания их подшиваются в «дело».

А если бы он был плохой поэт, тогда что? Если бы он был вообще не поэт, а дворник? Да просто тунейдещ? Что это меняет по сути: виноват — не виноват?

Все есть в этом деле — протоколы допроса, протоколы осмотра. «Осмотрена» была книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Понятые — москвички Маслова Галина Семеновна и Горбачева Маргарита Игоревна. Дело понятых зафиксировать книгу — название, объем, издание, содержание. Но они, как «искусствоведы в штатском», дают ей оценку: «автор явно тенденциозно», «клетветнически»... Все собрано — и «за», и «против».

Все, как прежде: «13.07.87 г. Секретно. Начальнику КГБ Чувакской АССР генерал-майору Позднякову А. И. Из материалов уголовного дела усматривается, что в 1956 году Мандельштам О. Э. вместе со своей супругой проживал в гор. Чебоксары, ул. Кооперативная, д. 8, кв. 16-а. В связи с изложенным просим Вашего указания проверить и сообщить, не располагает ли отдел КГБ Чувашской АССР архивными материалами... Пом-к нач-ка След. отдела КГБ СССР полковник К. Г. Насонов». Полковник КГБ просто не чи-

тает дела Мандельштама, пролистал белло, все перепутал.

Но зачем эта видимость усилий, эта «волна»? Постановление ОСО как внесудебного органа следовало просто признать недействительным. Всего-то. Мандельштам становился бы невинным автоматически, как миллионы других.

Реабилитировали полностью, в срок — к обеду нового столу. И, как казнили когда-то, снова под грифом «секретно».

Мы те же, может быть, еще хуже. Делаем все так же, но в другой маске на лице.

Теперь, когда все оказалось доступно, в том числе и строки Мандельштама, он оказался еще более далек от русского читателя, чем тогда, в двадцатые и тридцатые. Издали трехтомник? Да, но тираж невелик, и в эти книги ничего мы от себя не внесли, перепечатав то, что давно издали американцы.

«Осип Мандельштам. Собрание сочинений». Под редакцией проф. Г. Струве и Б. Филиппова. Спасибо этим людям! Издали, правда, зачетный том собственных исследований «Слово и судьба. Осип Мандельштам» (ответственный редактор — З. Паперный), но тираж — 1000 экземпляров...

А вокруг миллионными тиражами — детективы, порнография, секс, склочная политика...

И то сказать, во времена всеобщего разврата, лжи и лицемерия, времена безнаказанных убийств и насилия, кому нужны сегодня эти строки:

Да обретут мои уста Первоначальную немоту, Как кристаллическую ноту, Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита, И, слово, в музыку вернись, И, сердце, сердца устыдись, С первоосновой жизни слито!

Или: И море, и Гомер — все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, И море черное, витястая, шумит

И с тяжким грохотом подходит к изголовью. Или, или, или... Жизнь упала, как зарница, Как в стакан воды — ресница, Изоглавшись на корню — Никого я не виню...

Это был один из лучших поэтов XX века. Если не лучший... Кто не знает этого, пусть поверит Ахматовой. И он еще будет народным, когда весь народ станет интеллигентней. Сто лет для этого слишком мало.

Слепая ласточка в чертог теней вернется, На крыльях срезанных...

НЕЛЬЗЯ прощать Советской власти без покаяния даже одну эту смерть, даже ее — единственную.

Встанет ли когда-нибудь наконец Родина на покаянные колени — перед собственным народом?

31 ЯНВАРЯ 1939 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР за подписями М. Калинин и А. Горкина: 21 писатель был награжден орденом Ленина, 49 — орденом Трудового Красного Знамени, 102 — орденом «Знак Почета». 5 февраля «Литературная газета» опубликовала списки награжденных.

В день публикации почтительно барышня вернула Надежде Яковлевне посылку — «за смертью адресата». Евгений, ее брат, почесал в писательский дом — к Шкловскому. Его вызвали из квартиры Катаева, где орденосцы отмечали награды. Как

говорят, Фадеев был пьян, рас-палкался:

— Какого поэта мы погубили... Не знаю, в этой ли компании или в другой селились Ставский и Павликов.

Инициатор и организатор ареста (путевки!) Владимир Ставский был награжден орденом «Знак Почета». Содоношник и тайный соглашатель на допросе Петр Павликов — орденом Ленина.

О-РАЗНОМУ, противоположно ощущали себя всю жизнь солдагерники Мандельштама. Ленинград Маторин чувствовал себя уверенно, он оказался среди своих: ленинградцы чуть не все перестрадали. А Моисеенко у себя — чужой. В его родном белорусском райцентре таких «контриков», как он, всего трое, а остальные — тысячи.

Все воевали, в том числе в окрестных партизанских лесах. Как-то, уже работая на дороге, домами на железной дороге, пришел вместе со своими 9 мая на площадь. Праздник — оркестр, цветы. К Юрию Илларионовичу подошел пьяный подполковник в отставке: «А ты что, гад, здесь делаешь?» Подполковник был нештатным инструктором райкома партии — Бочаров Федор Иванович, Моисеенко стал тихо просить его: «Ну что вы, за что же вы на меня...» — «Убирайся отсюда сейчас же!» И Моисеенко ушел.

Хотелось — местечко почти еврейское. И когда Моисеенко вернулся из лагеря, почти все друзья оказались расстреляны — на окраине города, возле льнозавода. Сестра рассказала:

— Значит, Юра, у нас была одна семья благодарная, из Минска приехали — учитель и учительница. Когда немцы угоняли их в гетто, они девочек на улице оставили. Фаня и Цилия. Одной четыре годика, другой шесть. Такие хорошенькие были. И вот они ходили по домам, попрошайничали, такие смиренные, обнятые, и их все подкармливали, а в до 1 их не пуская, боялись: «Ну, идите, идите, деточки, от нас». И они в сарае спали, в стогах сена...

Значит, Юра, чем кончилось. Они бродили август, сентябрь, октябрь. Уже холодно было. И потом Холора Остроушко, наша соседка, сказала: «Что эти дети так мучаются?» Взяла их за ручки и отвела в нехитрую коммундатуру. Их там, прямо во дворе, и расстреляли...

Господи, думаю я, слыша пересказ, да ведь это о беспрестанной Осипе и Наденьке при советском режиме. Это же мы, мы, Господи. И свои ставские здесь, и павлинков.

Да, это мы. И мы — сегодняшние, пытающиеся многое и многих оправдать. Когда пришла Красная Армия, Ходору судили. Дали 10 лет. Но горожане во главе с председателем горисполкома возмущались приговором, ходатайствовали — Ходору же детей от мук спасала — и она, отсидев полсрока, была освобождена.

Это — мы, мы все. Из первого письма Осипа — Наденьке. 5 декабря 1919 года. Из врагелевского Крыма: «Дитя мое милое